

Заячий ремиз

Автор:

Николай Лесков

Заячий ремиз

Николай Семёнович Лесков

Николай Лесков

Заячий ремиз

Наблюдения, опыты и приключения Оноприя Перегуда из Перегудов

Встань, если хочешь, на ровном месте и вели поставь вокруг себя сотню зеркал. В то время увидишь, что один твой телесный болван владеет сотнею видов, а как только зеркала отнять, все копии сокрываются. Однако же телесный наш болван и сам есть едина токмо тень истинного человека. Сия тварь, будто обезьяна, образует лицевидным деянием невидимую и присноущную силу и божество того человека, коего все наши болваны суть аки бы зеркаловидные тени.

Григорий Сковорода.

Краткое предисловие

По одному грустному случаю я в течение довольно долгого времени посещал больницу для нервных больных, которая на обыкновенном разговорном языке называется «сумасшедшим домом», чем она и есть на самом деле. За исключением небольшого числа лиц испытуемых, все больные этого заведения

считаются «сумасшедшими» и «невменяемыми», то есть они не отвечают за свои слова, ни за поступки.

Приходя сюда с тем, чтобы видеть одного из таких больных, я незаметно перезнакомился и со многими другими, между которыми были люди интересные – в том отношении, что помешательство их было почти неуловимо, а между тем они несомненно были помешаны. Между прочими таков был чрезвычайно трудолюбивый, а притом и очень веселый и разговорчивый старик в бабьем повойнике, по имени Оноприй Опанасович Перегуд из Перегудов. Начальство заведения, прислуга и все больные звали его «Чулочный фабрикант», потому что он во всякое время, когда только не ел и не спал, постоянно вязал чулки и дарил их бедным. Кличкою «Чулочный фабрикант» он нимало не обижался, а даже был ею доволен и находил в этом свое призвание. Он был всеобщий друг и фаворит, его не обижал даже «Король Брындохлыст», сумасшедший человек огромного роста и чудовищной силы, который ходил в короне из фольги и требовал ото всех знаков раболепного почтения, а непокорным ставил подножки и давал затрещины. С Перегудом он проделал это только один раз в первый день его прибытия, а затем никогда этого не повторял и даже ограждал его, как своего «верноподданного болвана» и «лейб-вязальщика». О причине их дружбы с королем Брындохлыстом еще раз будет упомянуто в своем месте этой истории.

От роду Перегуду было лет за шестьдесят; он был «очень здоров», крепкого сложения, «присадковатой фигуры» и «круглого лица», «як дубра каунка», то есть арбуз. Он происходил из мелкопоместных дворян, которых в Перегудах числилось большое изобилие. Попервоначально он не приготавливался для вязанья чулок, а даже «урвал себе самое необыкновенное образование» и «исполнял необыкновенный долг службы свыше всякого воображения». Во всем этом Перегуд столько самого себя превзошел, что даже, наконец, «сам для себя стал непонятен и удивителен». По убеждениям он был «частью честолюб, а частью консерватор», а в жизни «любил тишноту» и чтобы «никто один другому не смел позу рожи показывать». И при таких своих дарованиях Оноприй Опанасович Перегуд всеудивительно себя превознес посредством «Чина явления истины» и потом «сам же себя жесточайше уменьчтожил». Произошло это удивительно и печально, но Перегуд на то не роптал, ибо все это «походило от собственной его удивленной природы». А природа его была такова, что он еще в детстве своем бегал сам за собою вокруг бочки, настойчиво стараясь сам себя догнать и выпередить. Естественно, что человеку с таким настроением в конце концов не могло быть покойно, и дело дошло до того, что после многих стараний Перегуду удалось сделаться жильцом сумасшедшего дома, где он и изложил в общеинтересных и занимательных беседах предлагаемую вслед за сим повесть.

Но прежде чем передавать повесть Перегуда, прошу позволения сказать нечто о месте, где он жил и действовал, а также об его происхождении.

I

В одной из малороссийских губерний есть очень большое и красивое село Перегуды. По мнению сведущих людей, это село давно бы надо уже переименовать в местечко или даже можно было бы объявить его и городом; но только это нельзя сделать, потому что «против сего есть заклятие от старого Перегуда». А кто такой был старый Перегуд? Это надо помнить, потому что он был когда-то человек очень важный – «казацкая старшина» и рыцарь; он лихо командовал полком, и звали его Опанас Опанасович. В честь его и теперь все его внуки и правнуки, которые носят фамилию Перегуды или Перегуденки, непременно потрафляют так, чтобы их дети мужеского пола были или Опанасы, или по крайней мере хоть Опанасовичи.

Такая уже «поведенция», щоб молодое дитя всегда звалось «у дідову честь», ибо «дід того стоил».

– Я вам про него отлично могу все рассказать, – говорил, сдвигая на затылок колпак, Оноприй Перегуд и рассказывал длинную историю, из которой я подам только любопытнейшие извлечения.

Прошу меня не осудить за то, что здесь его и мои слова будут перемешаны вместе. Я допустил это для того, чтобы не все распространять так пространно, как говорил на гулянках Оноприй Перегуд. Многие, по его мнению важные, на самом деле мне казались неважными и опущено, как совершенно не идущее к делу, или же изложено кратче моими словами, причем вся суть событий сохранена, а откинута повторения и другие приемы многословия мечтательного маньяка, через которые рассказ его был бы не свободен от длиннот и через то непременно утрачивал бы интерес.

II

Полковник Опанас Опанасович, или, как принято говорить, «старый Перегуд», сам и основал село Перегуды. Сначала здесь ничего не было, а потом стоял только млын, или по-русски «мельница». Знаете, песенку по-малороссийски спивают: «був да нэма, да поїхав до млына», а кацапы поют: «было да нетути, и поехал на мельницу...» Преглупая кацапузия, а все непременно норовит везде на свой фасон сделать! Ну да ладно! А потом еще позже около млына стал Перегудов хутор, а еще позже, как божиим произволением люди понарожались и население умножилось, то уже стало и село. Вот тогда дід Опанас закрутил себе чуб и стал навывдумливать: нарыл прудов, насажал рыбы с Остра и завел баштаны да огороды и как стал собирать жинок и дівчат на полотье, то за их помочью, – пожалуйста, – еще больше людей намножил, и стало уже так много, христиан, что, как хотишь, а довелось построить для них и церковь и дать им просвещенного попа, чтобы они соблюли закон христианский и знали, какой они породы и чем их вера лучше всех иных вер на свете. Иначе они не могли бы себя содержать в особливости без различия с литвою и ляхами, а наипача с лютерами и жидами. Старый Перегуд все и сделал, что было надобно, и ничего за ним не стояло: он срубил и церковь с колокольнею и привез откуда-то попа Прокопа всем на заглядение, ибо это был человек самого превосходного вида: рослый, пузатый и в красных чоботах, а лицо тоже красное, як у серафима, а притом голос такой обширный, что даже уши от него затыкали.

Старый пан Опанас был уж такой человек, что если он что-нибудь делал, то всегда делал на славу; а как он был огромный и верный борец за «православную веру», то и терпеть не мог никаких «недоверков» – и добыл в Перегуды такого отца, который не потерпел бы ни люторей, ни жидов, ни – боже спаси – поляков. Если совсем правду сказать, то оба они не очень-то уважали и господ москалей и даже постоянно не иначе их называли, как «чертовы дети», но, чтобы не накликать этим к себе «москаля на двор», – они в открытую борьбу с москалями не вступали, а только молилися тихо ко господу, щобы их «сила божа побила».

В обхождении с властными людьми дедушка Опанас был весьма благоискусен, особенно с теми, которые этого стоили; но при этом оставаясь с людьми одной своей «верной природы». Перегуд не скрывал, что он искренно поважал только одно доброе казачество, и для того хранил до них такую верность и вежливость, что завладел всею перегудинскою казачиною и устроил так, что все здешние люди не могли ни расплыться по сторонам, ни перемешаться глупым обычаем с кем попадя. Опанас Опанасович закрепостил их за собою и учинился над ними пан, еще где до Катериных времен! Так это сделал Перегуд еще при той казацкой старине, про которую добрые люди груди провздыхали и очи

проплакали. И сделал он все это за помощью старшин так аккуратно, что все перегудинские казаки и не заметили, «чи як, чи з якого повода» их стали писать «крепбками», а которые не захотели идти для дідуси на панщину, то щобы они не сопротивлялися, их, – пожалуйста, – на панском дворе добре прострочили, некоторых российскими батогами, а иных родною пугою, но бысть в тіх обоих средствах и ціна и вкус одинаковы. Но, а как это новым перегудинским крепакам, однако, все-таки еще не нравилось, то, щобы исправить в них поврежденные понятия и освежить одеревенелый вкус, за дело взялся поп Прокоп, который служил в красных чоботах и всякую неделю читал людям за обеднею то «Павлечение», которое укрепляет в людях веру, что они «рабы» и что цель их жизни состоит в том, что они должны «повиноваться своим господам». А щобы это было крепко на веки веков, произошло то заклятие, которое не дозволяет селу Перегудам переименоваться ни в торговое местечко, ни в город.

III

Так как перегудинские казаки не видали для себя удовольствия быть крепостными и, познакомясь с батогами и пугою, поняли, что это одно другого стоит и что им дома бунтовать невозможно, то они «удались до жида Хаима», щобы занять у него «копу червонцев». Крепбки захотели посылать в Питер справедливого человека, который мог бы достигнуть до царицы и доказать ей или ее великим российским панам, что в селе Перегудах было настоящее казацкое лыцарство, а не крепбки, которых можно продавать и покупать, как крымских невольников или как «быдло». Но прежде чем казаки с жидом насчет денег сговорилися, прознал о сем пан полковник и «перелупцевав» всех этих бывших лыцарей, по-своему уже, «одностойне пугою»; а как он еще не любил кое-как кончать никакое дело, то у него еще достало ума, щобы «предусмотреть и на будущее». Перегуд сообразил, чту может случиться вперед, если крепаки добудут разум и гроши, и положил предотвратить всякий возможный вред удалением соблазнов. А как соблазны во всех делах подневольным людям всегда подают люди вольные, то надо было позаботиться, щобы невольные с вольными близко не якшались. И вот для этого благой памяти старый полковник наскочил с хлопьятами и разорил жидовский дом, а потом и самого жида выгнал из Перегуд и разметал его «бебехи», щобы не было тут того подлого и духу жидовского, «бо выбачайте, все жида одинаково суть враги рода христианского».

А когда после этого все благополучно уставилось и протекло немалое время, в течение которого казаки перестали покушаться добывать себе назад лыцарство, милосердый бог судил Опанасу Опанасовичу «дождать лет своей жизни», то он увидал сынов и дочерей, и сыны сынов, своих и дочерей, и обо всех о них позаботился, как истинный христианин, который знает, что заповедано в божием писании, у святого апостола Павла, к коринфянам во втором послании, в двенадцатой главе, в четырнадцатом стихе, где сказано, что «не должны бо суть чада родителем снискать имения, но родители чадам». И Опанас Опанасович соблюл это наставление, и когда его стараниями, а божиим смотрением стало много Перегудов и Перегуденков, то было уже для них у старого полковника припасено и много добра.

Когда же все земное было устроено и Перегуд увидел, что житницы его полны, а век его иждивается и «літа уже прошли як слід по затону», то став взирать и ко вышня, и когда занедужал один раз животом, и до того вредно, что мало чуть внутренности из него не выпали, то он тогда вспомнул о «часе воли божией» и начав воображать в своей фантазии; «Що тоди буде, як его казацкая душа мало-помалу да наконец совсем выскочит из тела? Ой, не миновать ей того, чтобы устретить тех самых повсеместно летающих страшных и престрашных воздушных духов, или, попросту сказать, бесов или чертяк, которые намалеваны в Лавре на стенке у Пещерной брамы на выходе!.. Гей, то с ними тогда буде добра работа, и дешево не разделаешься. А деньги-то все на земле останутся...» Смел он был очень, но, знаете, однако такая беспокойная встреча если кому навяжется в голову, да еще при болезни, то это мое почтение! Пробовал Перегуд хорошо испить «на потуху» и постараться уснуть покрепче, но все воздушных бесов множество за ним гналося и во сне ему стало сниться. Перегуд видел, как они, восшумев своими перепончатыми крылами хуже, як літучи мыши, схопят его за чуб и поволокут в ад, а другие будут подгонять сзади огненными прутьями...

– Сохрани и спаси от сего мати божа печерская!

IV

Пан Опанас сейчас же проснулся и в первую голову позвал попа в красных чоботах и подписал в свое завещание еще сто дукатов на колокол и чтобы отлито было с его очевидной «фигурою», а потом сказал тому пузатому попу

Прокопу на ухо, по секрету от всех, «яку-то заклятку», и сам тут при всех же рожу скривил, да и умер. Такая-то была его кончина. А как принесли его в церковь, то все его хотели видеть, бо он убран был в алом жупане и в поясе с золотыми цвяшками, но поп Прокоп не дал и смотреть на полковника, а, взлезши на амвон, махнул рукою на гроб и сказал: «Закройте его швідче: иль вы не чуєте, як засмердело!» А когда крышку нахлопнули и алый жупан Перегуда сокрылся, то тогда поп Прокоп во весь голос зачал воздавать славу Перегуду и так спросил:

– Братия! Все вы его знали, а не все вы теперь знаете, що от сей наш пан Опанас завіщал, бо то была вслыка его тайна, котору он мне открыв только в саму последнюю минуту, с тим, щоб я вам про это сказал над его гробом и чтобы вы всі мне поверили, бо я муж в таком освященном сане, что присяги присягать я не могу, а все должны мне верить по моей иерейской совести, бо она освященна. И потому я пытаю вам добре: чи вірите вы міне, чи не вірите? Говорите просто!

И все в один голос ответили:

– Віримо, пан отец, віримо!

А отец Прокоп покивал головою и прослезился, и потом отер ладонями оба глаза и сказал томно:

– Спасибо и вам, дітки мои духовнии! Ой, спасибо вам, що вы меня, недостойного, так богато утешили, хотя я и раньше по очах ваших видел, що вы имеете до меня всяку веру, истинну же, и не лицемерну, и не лицеприятну, и плодокосящу и добродееущу. Так и знайте же зато, все люди божиин, що сей старый наш пап и благодетель, его же погребаем, в остатнем часе своего жития схилился ко мне до уха, а потом на грудь так, что мне от него аж пылом и смрадом смерти повеяло, и он в ту минуту сказал мне... Слушайте ж! Всі слушайте! Бо се слова вже все ровно як бы с того світа... То він сказав так:

– Пан отец! Скажи всем людям на моем погребении, что я им заклинаю и всех моих родичей и наследников, чтобы на вічны віки щоб никогда не було у нас в Перегудах ни жида, ни католика! От! И чтобы не було у нас ни католицкого костела, ни жидовской школы; а чтобы была у нас навсегда одна наша истинная христианская вера, в которой все должны исповедаться у тебя, перегудинского попа, и тебе открывать асе, кто что думает. А кто сего святого завета не

исполнит и что-нибудь по тайности утаит, то «будет часть его со Иудею, который сидит у самого главного чертяка в аду с кошельком на коленях и жарится в сере».

И тут поп Прокоп поднял руку и забожился, что он это не выдумал, а что так истинно говорил полковник.

Этому долго все люди верили, но потом стали появляться кое-какие вольнодумцы, которые начали говорить, что отец Прокоп не всегда будто говорит одну чистую правду и иногда таки, – прости его господи, – и препорядочно «брешет»; и от сего-де будто можно немножко сомневаться: правда ли, что старый Перегуд положил заклятие, или, может быть, это отец Прокоп, – поздравь ему боже, – сам от себя выдумал, чтобы быть ему одному за все село единственным у бога печальником.

И как пошло это еретичество в людях, то естественно, что спасительный страх через то был отведен в сторону, и скоро «части с Иудею» уже почти совсем не боялись. И тогда начали лезть в Перегуды жида и католики с тем, чтобы им тут купить места и поставить себе дома на базаре; а потом, разумеется, они уж начнут столы стругать, штаны шить да сапоги, и шапки ладить, да печь бублики, и играть в шинке на скрипичах, и доведут Перегуды до того, что все здешние христиане чисто перепьются и перебьют трезвым жидам их носатые морды, а тогда за них, пожалуй, потребуется ответ, как будто и за заправских людей. Однако, несмотря на все эти хитрости, Перегуды все-таки очень легко могли сделаться местечком, если бы все перегудинские дворяне и между собою не перессорились. А какие на свете были перегудинские дворяне и сколько их было числом, то это Оноприй Опанасович сказывал сбивчиво, и думается, что всех их и описать нельзя, а довольно сказать, что все они ссорились и старались докучать и досаждать друг другу. В отдельности же из них надобно назвать только самого важного – это был Опанас Опанасович, который вывел свою фамилию в свет тем, что покинул домоседство и служил где-то по комиссариату первой или второй армии. Сей увеличил свою житницу и, имея единственного сына Дмитрия, дал ему столь превосходное воспитание в московском пансионе Галушки, что этот молодец научился там говорить по-французски о чем вам угодно. После этого его скоро определили по таможенной части, где он служил с честью и, получив чин коллежского советника, а также скопив состояние, вышел в отставку на пенсию. Еще состоя на службе, Дмитрий Афанасьевич Перегудов женился законным браком на начальственной родственнице Матильде Опольдовне, про которую, впрочем, говорили, будто она даже никому и не

родственница, ну да это и не важно, потому что, как только Перегудов приехал к себе в деревню, жена его не стерпела здешней жизни и скоро от него ушла жить в Митаву. Дмитрию Афанасьевичу стало не с кем говорить по-французски, но он скоро придумал, как пособить этому горю, и о деяниях его впереди ожидает нас некоторая мимолетная повесть.

Другой же видный перегудинский дворянин, как хотите, был тот самый Оноприй Опанасович Перегуд, которого я зазнал в сумасшедшем доме, и теперь дальше уже сам он будет вам рассказывать свою жизнь, опыты и приключения.

Оноприй Опанасович совершенно другого воспитания, чем Дмитрий Афанасьевич, ибо Оноприй не достигал московского пансиона Галушки, но зато он в воспитании своем улучил нечто иное, и притом гораздо более замечательное. Вот он теперь перед вами: он сравнял на коленях свое вязанье и начал говорить:

– Пожалуйте!

V

В моей жизни было всего очень много, но особенно оригинальности и неожиданности. Начну с того, что так учиться, как я обучался, – я думаю, едва ли кому другому из образованных людей трафилось. А и с тем, однако, я все-таки еще в люди вышел, и заметьте, должность какую сразу получил, и судил, и допрашивал, и немалую пользу принес, и жил бы до века, если бы не романс: «И, может быть, мечты мои безумны!..» Ах, слушайте, ведь я учился всем наукам в архиерейском хоре! Помилуйте-с! А как я оттуда прямо на гражданскую должность попал – это тоже замечательно, но только непременно надо вам немножко знать, как у нас лежит наше село Перегуды, ибо иначе вы никак не поймете того, что придет о моем отце, о рыбе налиме и о благодетеле моем архиерее, и как я до него пристал, а он меня устроил.

Оно, то есть село наше, видите, совершенно как в романах пишут, раскинуто в прекрасно живописной местности, где соединялись, чи свивались, две реки, обе недостойные упоминания по их неспособности к судоходству. И есть у нас в Перегудах все, что красит всеми любимую страну Малороссию: есть сады, есть

ставы, есть тополи, и белые хаты, и бравые паробки и чернобрыви дівчата. И всего люду там теперь наплодилось более чем три тысячи душ, порассеянных в беленьких хатках. Про нашу Малороссию всё это уже много раз описывали такие великие паны, как Гоголь, и Основьяненко, и Дзюбатый, после которых мне уже нечего и соваться вам рассказывать. Особенности же, какие были у нас в Перегудах, состояли в том, что у нас в одном селении да благодаря бога было аж одиннадцать помещиков, и по ним одиннадцать панских усадеб, и все-то домики по большей части были зворожены окнами на большой пруд, в котором летней порою перегудинские паны, дай им боже здоровья, купались, и оттого и происходили совместно удовольствия и неприятности, ибо скрытую полотном купальню учредил оный воспитанник пансиона Галушки, Дмитрий – як его доле звать – чи шо Афанасьевич, потому что у них после отъезда в Митаву их законной жены были постоянно доброзрачные экономки, а потому Дмитрий Афанасьевич, имея ревнивые чувства, не желали, щобы иные люди на сих дам взирали. Господи мой! як бы то им что-либо от очей подіється! Ну, а все прочие перегудинские паны на такие вытребенки не тратились, а купались себе прямо с бережка, где сходить лучше, и не закрывались, ибо что в том за секрет, кто с чем сотворен от господа. Се же и есть в том тайна господня творения, разделяюща мужской пол и женский, а человеку нечего над тем удивляться и умствовать, ибо недаром мудрейший глаголет в Екклезиасте:

«Не мудрися излише, да некогда изумишися». И точно, были у нас такие паны и пани, что, бывало, как разденутся и начнут входить в воду, то лучше на них не взирай, да не изумишися. Но наши того и не боялись, а иньшие даже и нарочито друг другу такое делали, что если один с гостями на балкон выйде, то другой, который им недоволен, стоит напротив голый, а если на него не смотрят, то крикнет: «Кланяйтесь бабушке и поцелуйте ручку».

Перегуды и Перегудовпы – всі народ терпкий, и исключение составлял один я, ибо я, говорю вам, в воспитании своем в архиерейском хоре получил особое приуготовление.

Теперь, вот позвольте, сейчас будет вам сказ о моем воспитании, про какое вы, наверно, никогда и не чуяли, а теперь враз всё узнаете, как оно состоялось, – и главное, совсем неожиданно и, заметьте, совсем с неподходящего повода – из-за налима.

Только вы извините, что я и это вам начну опять с мирных и премирных времен моего пресчастливейшего детства, когда я находился при моей матери и всюду ее сопровождал по хозяйству, ел сладкие пенки с варенья, которое она наисмачнейше варила, и вязал под ее надзором для себя чулки и перчатки, и тогда мне казалось, что мне больше ничего и не надо, никакого богатства, ни знатности и никаких посторонних благополучий и велелепий. Думал, что и просить у бога чего-либо грех, иначе как «исполняй еси господи наше всяко животное благоволение», о коем сказано в молитве по трапезе. И вправду, – пожалуйста, – кажется, если человек сыт, и ему тепло, и он может иметь добрую компанию, ну, то чего ему еще и требовать! Разумеется, есть неблагодарные и злонравные, коим все мало, ну так у нас таких не было. Маменька моя, впрочем, была не из перегудинских, но а все-таки тоже хорошенького дворянского рода, а по бедности вела жизнь очень просто. Папеньку она очень любила, да и нельзя было его не любить, потому что папенька мой был очень молодец. Совсем был не такой, как я! Уг-гу! Где же таки: нэма що и сравнивать. Я какой-то коцубатый да присадковатый, а он был что высокая тополя. И чином он тоже был майор и вышел в отставку за ранами с пенсией, которую ему и выдавали по семи рублей в месяц из казначейства. Без этого нам бы, может быть, и очень бы туго было, как и другим Перегуденкам, но с пенсией мы жили добре, и мамаша всегда, бывало, мне говорили:

– Эй, Оноприйку! Шануй своего отца, бо ты видишь, как мы за его кровь сколько получаем и можем чай пить, когда у других и к мяте сахару нет. – Так мы и жили во всякой богу благодарности, и как родители мои были набожные, то и я был отведен матерью моею в семилетнем возрасте на дух к попу! А поп у нас тогда был Маркел, Прокопов зять, – бо Прокоп помер, – и был той Маркел страшный хозяин и превеликий хитрец, и он с предумыслом спросил у меня:

– Чи не крав ли ты, хлопче, огурки або кавуны на баштани?

А як мати учила меня отвечать по правде, то я ему и ответил:

– А то як же, батюшко! – крав.

Он кажет:

– Молодец!.. Бог простит: се діло ребячье. – А потом вспомнил и то спросил – А не нрав ли ты часом тоже и на моей бакші?

А я отвечаю:

– А то как же, батюшко: нрав с другими хлопцами и на вашей.

А он тогда взял меня сразу за чуб и так натряс до самого до полу, что я тім только и избавился, що ткнул его под епитрахиль в. брюхо, и насилу от него вырвался и со слезами жаловался на то своему отцу с матерью. Отец хотел за это попа бить, но когда они сошлись, то заместо бою между ними настало самое «животное благоволение». Повод к сему был тот, что в это самое время настал у нас новый архиерей, который был отцу моему по школе товарищ, и собирался он церкви объезжать. А отец взял да Маркелу попу тем и похвастался и сказал ему:

– Хоть и очень тебя избыю, но ничего не боюсь – тебе зелено будет молчать против меня. А то и места лишишься.

Вот поп Маркел как это почуял, так и говорит отцу:

– Вот чисто все, и видать, что напрасно мы ссоримся. Если так, то хотите бьете, а хотите милуете, но я ничего противного не хочу, а если вы с нашим архиереем знакомы, то пусть от сего нам обоим добро выйдет.

Отец ему отвечает:

– Изъясни, что же такое! А архиерея я отлично знаю: мы с ним в бурсе рядом спали и вместе ходили кавуны красть.

А поп потянул рукою себя по бороде и отвечает:

– Извольте же вам за это получения: вот вам первое, что извольте получить, – это на чепан сукна и фунт грецкого мыла супруге на смятченье кожи.

И подает и сукно и мыло.

А отец ему отвечает, что «что же это, ты подаешь, не объяснив, в чем твое угождение, а думаешь уже, как бы с мылом под меня подплынуть! Так и все вы, духовные, такие хитрые; но я еще не забыл, как твой тесть моего діда волю над его гробом с амвони выкрикал; а может быть, все это только враки были, за то що он хотел выпхать из Перегудов жидов, а потом, когда уже жидов не стало, то он начал сам давать гроши на проценты, а ныне и ты тому же последовал».

Маркел говорит:

- Вот про сие и речь.

А отец говорит:

- Да що там за річь! Нэма про що и казать срам! Жид брал только по одному проценту на месяц, а вы берете дороже жидовского. Се, братку, не мылом пахнет!

- Ну, а если не мылом, - отвечал Маркел, - то я подарю вам еще большего глинистого, индюха. Що тогда буде? - спросил поп.

- И индюх не поможет.

- А если еще с ним разом и две индюшки?

- Я глинистого пера птицы не отвергаю, потому что она мне ко двору, как и теля светлой шерсти тоже, но все же правда дороже, что ты разоритель.

- Ну, хорошо! Пусть вам и буде правда всего дороже. Делать нечего: я вам прибавлю еще и теля, Владейте, бог с вами: из него скоро будет добра коровка!

- Ну, это когда она еще вырастет!

- А нет... не говорите так: вырастет и будет очень добра коровка!

- Да когда? Сколько этого ждать! Да и как будет ее молоко пить, когда вспомнешь, что это не за одну правду, а и за детскую кровь узял.

– От далась-таки вам еще эта детская кровь; да еще та самая, которой и не было!

– Ба! Як же то ее не было! Вы же трясли за чуб моего сына! Это на духу и не полагается.

– Эко там велико дело, що я подрав на духу хлопца за чуб за то, що он у меня кавуны крал: он с того растет, а вам от коровки молоко пить будет.

Но отец сказал:

– Это нельзя.

– Почему нельзя?

– А вы разве не читали у Патриаршем завете, что по продаже Иосифа не все его братья проели деньги, а купили себе да женам сапоги из свинячьей кожи, щобы не есть цену крови, а попирать ее.

– Ну, да понимаю уже, понимаю. Еще и попирать что-то хотите. Ну так будет вам и попирать – нехай будет по-вашему: я вам прибавлю еще подсвинка со всей его кожею, но только предупреждаю вас, что от того, что вы меня не защитите от всенародного озлобления, вам никакой пользы не прибудется; а как защитите, то все, что я вам пообещался, – все ваше будет.

Тогда отец сказал ему:

– Ну, иди и веди ко мне и индюха, и теля, и подсвинка – бог даст, я за тебя постараюсь. А все расходы на твой счет.

Поп повеселел. Что уже там расходы! И стал он просить отца, чтобы только припомнил и рассказал ему: что такое архиерей особенно уважал в прежней жизни?

А отец его попнхнул рукою в брюхо и говорит:

– Эге! Поди-ка ты шельма какой! Так я тебе это и скажу! Мало ли что мы тогда с ним любили в оные молодецкие годы, так ведь в теперешнем его звании не все то и годится.

– Ну, а в пищепитании?

– В пищепитании он, как и вообще духовные, выше всего обожал зажаренную поросячью шкурку, но и сей вкус, без сомнений, он ныне был должен оставить. А ты не будь-ка ленив, да слетай в город и разузнай о нынешнем его расположении от костыльника.

Поп Маркел живо слетал и, возвратясь, сказал: «Ныне владыка всему предпочитает уху из разгневанного налима». И для того сейчас же положили разыскать и приобрести налима, и привезть его живого, и, повязав его дратвою за жабры, пустить его гулять в пруд, и так воспитывать, пока владыка приедет, и тогда налима вытащить на сушу, и принести его в корыте, и огорчать его постепенно розгами; а когда он рассердится как нельзя более и печень ему вспухнет, тогда убить его и изварить уху.

Архиерею же папаша написал письмо на большом листе, но с небольшою вежливостью, потому что такой уже у него был военный характер. Прописано было в коротком шутовском тоне приветствие и приглашение, что когда он приедет к нам в Перегуды, то чтобы не позабыл, что тут живет его старый камрад, «с которым их в одной степени в бурсе палями бито и за виски драно». А в закончении письма стояла просьба: «не пренебречь нашим хлебом-солью и заезжать к нам кушать уху из печеней разгневанного налима».

Но, – пожалуйста, – какие же из этого последовали последствия!

VII

Доставить отцово письмо в дом ко владыке покусился сам поп Маркел, ибо в тогдашние времена по почте писать к особам считалось невежливо, а притом поп желал разузнать еще что-либо полезное, и точно – когда он вернулся, то привез премного назидательного. Удивительно, что он там в короткое время

успел повидаться со многими лицами архиерейского штата, и многих из них сумел угостить, и, угощая, все расспрашивал об архиерее и вывел, что он человек высркрпросвещенного ума, но весьма оляповатый, что вполне подтверждалось и его ответом, который похож был на резолюцию и был надписан на собственном отцовом письме, а все содержание надписи было такое: «Изрядно: готовься – приеду».

Тогда началась чудосия, ибо гордый своим майорством отец мой отнюдь не был доволен этою оляпкою и сейчас же пустил при всех на воздух казацкое слово и надписал на письме: «Не буду готовиться – не ездю», и послал лист назад, даже незапечатанный; но архиерей по доброте и благоразумию действительно был достоин своего великолепия, ибо он ни за что не рассердился, а в свою очередь оборотил письмо с новым надписанием: «Не ожесточайся! Сказал, буду – и буду»

Тут папаша, – пожалуйста, – даже растрогался и, хлопнув письмом по столу, воскликнул:

– Сто чертей с дьяволом! Ей-богу, он еще славный малый!

И отец велел маменьке подать себе большой келих вина и, выпив, сказал: «се за доброго товарища!», и потом сказал матери приуготовлять сливные смоквы, а попу Маркелу наказал добывать налима. И все сие во благовремение было исполнено. Отец Маркел привез в бочке весьма превеликую рыбу, которую они только за помощью станового насилу отняли у жида, ожидавшего к себе благословенного цадика, и как только к нам она рыба была доставлена, то сейчас же поведено было прислужавшей у нас бабе Сидонии, щобы она спряла из овечьей волны крепкую шворку, и потом отец Маркел и мой родитель привязали ея налима под жабры и пустили его плавать в чистый ставок; а другой конец шворки привязали к надбережной вербе и сказали людям, щобы сией рыбы никто красть не осмеливался, ибо она уже посвященная и «дожидается архиерея». И что бы вы еще к тому вздумали: як все на то отвечали?

А отвечали вот как: «О, боже с ней! Кто же ее станет красти!» А меж тем взяли и украли... И когда еще украли-то? – под самый тот день, когда архиерей предначертал вступить к нам в Перегуды. Ой, да и что же было переполоху-то! Ой, ой, мой господи! И теперь как об этом вспомнишь, то будто мурашки по тілу забігают... Ей-богу!

А вот вы же сейчас увидите, как при всем этом затруднении обошлись и что от того в рассуждении меня вышло.

VIII

Преудивительная история с покражей налима обнаружилась так, что хотели его выгтягти, щоб уже начать огорчать его розгами, аж вдруг шворка, на которой он ходил, так пуста и телепнулась, бо она оказалась оборванною, и ни по чему нельзя было узнать, кто украл налима, потому что у нас насчет этого были преловкне хлопцы, которые в рассуждении съестного были воры превосходнейшие и самого бога мало боялись, а не только архиерея. Но поелику времени до приготовления угощения оставалось уже очень мало, то следствие и розыск о виновных в злодейском похищении оной наисмачнейшей рыбы были оставлены, а сейчас же в пруд был закинут невод, и оным, по счастью, извлечена довольно великая щука, которую родителями моими и предположено было изготовить «по-жидовски», с шафраном и изюмом, – ибо, по воспоминаниям отца моего, архиерей ранее любил тоже и это.

Но что было неожиданностию, это то, что по осмотре церкви архиереем его немедленно запросил до себя откушать другий наш помещик, Финогей Иванович, которого отец мой весьма не любил за его наглости, и он тут вскочил в церкви на солею, враг его ведает, в каком-то на присвоенном ему мундире, и, схопив владыку за благословенную десницу, возгласил как бы от Писания: «Жив господь и жива душа твоя, аще оставлю тебя». И так смело держал и влек за собою архиерея, что тот ему сказал: «Да отойди ты прочь от меня! – чего причіпился!» и затем еще якость его пугнул, но, однако, поехал к нему обедать, а наш обед, хотя и без налима, но хорошо изготовленный, оставался в пренебрежении, и отец за это страшно рассвирепел и послал в дом к Финогею Ивановичу спросить архиерея: что это значит? А архиерей ответил: «Пусть ожидает».

И, пообедав у Финогея Ивановича, владыка вышел садиться, но поехал опять не до нас, а до Алёны Яковлевны, которая тож на него прихопилась, як банная листва, а когда отец и туда послал хлопца узнать, что архиерей там делает, то хлопец сказал, что он знов сел обедать, и тогда это показалось отцу за такое бесчинство, что он крикнул хлопцам:

– Смотрите у меня: не смійте пущать его ко мне в дом, если он подъедет!

А сам, дабы прохладить свои чувства, велел одному хлопцу взять простыню и пошел на пруд купаться. И нарочито стал раздеваться прямо перед домком Алены Яковлевны, где тогда на балкончике сидели архиерей и три дамы и уже кофей пили. И архиерей как увидал моего рослого отца, так и сказал:

– Как вы ни прикидайтесь, будто ничего не видите, но я сему не верю: этого невозможно не видеть. Нет, лучше аз восстану и пойду, чтобы его пристыдить. – И сразу схопился, надел клобук и поехал к нам в объезд пруда. А с балкона Алены Яковлевны показывая, дівчата кричали нам: «Скорей одягайтесь, пане! До вас хорхирей едет!» А отец и усом не вел и нимало не думал поспешить, а, будучи весь в воде, даже как будто с усмешкою глядел на архиерейскую карету. Архиерей же, проезжая мимо его, внезапно остановился, и высел из кареты, и прямо пошел к отцу, и превесело ему крикнул:

– Що ты это телешом светишь! Или в тебе совсім сорому нэма? Старый бесстыдник! А отец отвечал:

– Хорошо, що в тебе стыд есть! Где обедал?

Тогда архиерей еще проще спросил:

– Да чего ты, дурень, бунтуешься?

А отец ответил:

– От такового ж слышу!

Тогда архиерей усмехнувся и сел на скамейку и сказал:

– Еще ли, грубиян, будешь злиться? *Egvando amabis...* Впрочем, соблюди при невеждах приличие? – И с сими словами рыгнул и, обратив глаза на собиравшиеся вокруг солнца красные облака, произнес по-латыни: *Si circa occidentem rubescunt nubes, serenitatem futuri diei spondent.*[1 - Красные облака вокруг заходящего солнца предвещают ясный день (лат.).]

Это имеет для меня значение, ибо я должен съесть, по обещанию, еще у тебя обед и поспешать на завтрашний день освящать кучу камней. Выходи уже на сушу и пошли, чтобы изготовляли скорее твоего налима, которым столь много хвалился.

Услыхав это язвительное слово о налиме, отец рассмеялся и отвечал, что налима уже нет.

- Пока ты по-латыни собирался, добры люди божьи по-русски его украли.

- Ну и на здоровье им, - отвечал архиерей, - я уже много чего ел, а они, может быть, еще и голодны. Мы с тобой вспомним старину и чем попало усовершеншим свое животное благоволение. Не то важно, что съешь, а то - с кем ешь!

Услыхав, что он хорошо говорит и что опять согласен еще раз обедать, отец скоро из воды выскочил, и потекли оба с прекраснейшим миром, который еще более установился оттого, что архиерей все снова ел, что перед ним поставляли, и между прочим весело шутил с отцом, вспоминая о разных веселящих предметах, как-то о киевских пирогах в Каткоем трактире и о пороссячьей шкурке, а потом отец, может быть чрез принятое в некотором излишестве питье, спросил вопрос щекотливого свойства: «Для чего, мол, ты о невинных удовольствиях, в миру бывших, столь прямодушно вспоминаешь, а сам миром пренебрег и сей черный ушат на голову надел?»

А той и на сие не осердился и отвечал:

- Оставь уже это, миляга, и не сгадывай. Что проку говорить о невозвратном, но и то скажу - о мирской жизни не сожалею, ибо она полна суеты и, все равно как и наша - удалена от священной тишноты философии; но зато в нашем звании по крайней мере хоть звезды на перси легостнее ниспадают.

- Это-то правда, - сказал отец, - но зато нет от вас племени, - и затем пошел говорить, как он видал у грецких монахов, где есть «геронтесы», и как они, сии геронтесы, иногда даже туфлей бьют...

Но тут следившая за разговором мать моя со смущением сказала:

– Ах, ваше преосвященство!.. Да разумеется все так самое лучшее, как вы говорите!.. – А потом обернулась к отцу и ему сказала: – А вы, душко мое, свое нравоученье оставьте, ибо писано же, что «и имущие жены пусть живут как неимущие»... Кто же что-нибудь может против того и сказать, что як звезды на перси вам ниспадают, то это так им и слід ниспадать и по закону и по писанию. А вы моего мужа не слушайте, а успокойте меня, в чем я вас духовно просить имею о господе!

Отец сказал:

– И верно это, душко моя, у вас какая-нибудь глупость!

А мать отвечала:

– А напротив, душко мое, это не глупость, а совершенно то, что для всех надо знать, ибо это везде может случиться. – И сразу затем она рассказала архиерею, чту у нее «есть в сумлении», а было это то, что когда перед прошлою пасхою обметали пыль с потолков, а наипаче в углах, то в гостинечной комнатке упал образ всемилостивейшего спаса, и вот это теперь лежит у нее на душе, и она всего боится и не знает, как надлежит к сему относиться.

Архиерей же выслушал ее терпеливо и немножко подумал, а потом сказал «с конца»:

– На дискурс ваш ответу сначала с конца, как об этом есть предложенное негде в книгах исторических: поверье об упавшей иконе идет из Рима, со времен язычества, и известно с того случая, как перед погибелью Нерона лары упали во время жертвоприношения. Это примечание языческое, и христианам верить сему недостойно. А что в рассуждении причины бывшего у вас падения, то советую вам каждого года хотя однажды пересматривать матузочки, или веревочки, на коих повешены висящие предметы, да прислуга бы, обметая, чтобы не била их сильно щеткою. И тогда падать не будут. Расскажите это каждому.

Мать мою это еще больше смутило, ибо она была очень сильно верующая и непременно хотела, чтобы все ее суеверия были от всех почитаемы за самосвятейшую истину. Так уже, знаете, звычайно на світі, що все жинки во всяком звании любят посчитывать за веру все свои глупости. И архиерей понимал, как неудобна с ними трактация, и для того прямо из языческого Рима

вдруг перенесся к домашнему хозяйству и спросил: «Умеете ли вы заготавливать в зиму пурмидоры?» А переговорив о сем, перекинулся на меня, и вот это его ужаснейшее внимание возымело наиважнейшие следствия для моей судьбы. Говорю так для того, что если бы не было воспоминаемого падения иконы, то и разговора о ней не было бы, и не произошли бы наступающие неожиданные последствия.

IX

Быв по натуре своей одновременно богослов, и реалист, архиерей созерцаний не обожал и не любил, чтобы прочие люди заносились в умственность, а всегда охотно зворочал с философского спора на существенные надобности. Так и тут: малые недостатки отца моего не избежали, очевидно, его наблюдательного взора, и он сказал:

– А що, collega, ты, как мне кажется, должно быть, не забогател?

А отец отвечает:

– Где там у черта разбогател! На трудовые гроши годовой псалтыри не закажешь.

– То-то и есть, а пока до псалтыри тебе, я думаю, и детей очень трудно воспитывать?

Отец же отвечал, что тем только и хорошо, что у него детей не много, а всего один сын.

– Ну и сего одного надо в люди вывести. Учить его надо.

А когда услышал, что я уже отучился у дьячка, то спросил меня: что было в Скинии свидения? На что я ответил, что там были скрижи, жезл Аваронов и чаша с манной кашей. И архиерей смеялся и сказал:

– Не робей: ты больше знаешь, как институтская директриса, – и притом рассказал еще, что, когда он в институте спросил у барышень: «какой член символа веры начинается с „чаю“», то ни одна не могла отвечать, а директриса сказала: „Они подряд знают, а на куплеты делить не могут“».

И опять все смеялись, а маменька сказали: «И я не знаю, где там о чае». А когда архиерей узнал, что я имею приятный голос, велел мне что-нибудь запеть – какой-нибудь тропарь или песню, а я запел ему очень глупый стих:

Сею-вею, сею-вею,

Пишу просьбу архиерей!

Архиерей мой, архиерей,

Давай денег поскорей!

Родители мои очень сконфузились, что я именно это запел; а я, наоборот, потому запел, что я эту песню занял петь от моего учителя – дьячка; но архиерей ничего того не дознавал, а только еще веселей рассмеялся и, похвалив мой голос, сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Красные облака вокруг заходящего солнца предвещают ясный день (лат.).

Купить: <https://tellnovel.com/ru/nikolay-leskov/zayachiy-remiz>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)